

VIII

Вильмессан продолжает кричать по бульварам:

– Вентра?.. Ну и дурень, дети мои!

Чудак!

Это – тот же Жирарден, но только с большими круглыми глазами, отвислыми, мертвенно-бледными щеками и усами старого служаки; у него брюшко и манеры торговца живым товаром, но он обожает свое ремесло и осыпает золотом своих «продажных свиней».

Он способен уничтожить жестокой шуткой сотрудника, потерпевшего у него неудачу, а минуту спустя он, по его собственному выражению, уже «распускает нюни» над рассказом о бедственном положении какой-нибудь семьи, о болезни ребенка, о злоключениях старика. Он вытряхивает из своего кармана золото и медяки в фартук плачущей вдовы с такой же непринужденностью, с какой расправляется с самолюбием дебютанта или даже старого сотрудника. Он бесцеремонно попирает людскую деликатность, – этакое животное! – но и в ногах у него есть сердце.

Он хочет, чтобы его «крикуны» привлекали публику. Если наемник ему не подходит – он публично дает ему по шапке и спускает вниз головой с лестницы своего балагана. Ему нужны паяцы, которые бы по одному его знаку кувыркались, вывертывали себе члены, прыгали до потолка так, чтобы трещал либо потолок, либо череп...

Я не сержусь на него за его грубости, сдобренные шуткой.

– Эй вы, там, могильщик, я хочу вас спросить кое о чем! Правда ли, говорят, что, когда ваши родители приехали в Париж, чтобы развлечься, вы повели их в морг и на Шан-де-Наве?[33] Правда?.. Ну, тогда к черту! Мне нужны весельчаки! А вы, – да будет вам известно, – ничего не стоите! Нет, в самом деле, какой же вы шутник? О, я хорошо знаю, что заставило бы вас улыбнуться, сударь... Хорошая революция? Не так ли? Если б это зависело только от меня... Но что скажет «мой король»? А ну-ка, отвечайте прямо, без уверток: расстреляют папашу Вильмессана, когда настанет царство святой гильотины?[34]

Думаю, что нет! Как-никак, а он открыл арену для целого поколения, бессильно кусавшего себе кулаки во мраке. На почву, где империя сеяла разъедающую соль проклятий, он бросал пригоршнями соль галльской остроты, – ту соль, что оживляет землю, залечивает ушибы, затягивает раны. Этому увальню Париж обязан возвратом веселья и иронии. Кто он: легитимист, роялист? Полноте! Он просто шутник высшей марки и со своей газетой, стреляющей холостыми зарядами по Тюильри, – первый инсургент империи.

Так же и Жирарден.

Мумия из «Либерте» имеет что-то общее с боровом из «Фигаро». Разбейте лед, сковывающий его маску, и вы увидите, что в гримасе его губ притаилась доброта, а в холодных глазах застыли слезы.

У этого бледнолицего человека нет времени для сентиментов, ему некогда объяснять, почему он презирает человечество, почему имеет право третировать, как лакеев, трусов, позволяющих ему это. Не беспокойтесь, он не оскорбит тех, кого уважает!

Он нанес удар целому вороху моих иллюзий, но этот удар был нанесен открыто.

– Я сделал это потому, что почувствовал в вас мужественного человека, – сказал он мне недавно, на одном вечере, и, взяв при всех под руку, долго разгуливал со мной.

Вдруг он остановился и, пристально глядя на меня, сказал:

– Вы, конечно, думаете, что я презираю бедняков? Нет. Но я нахожу глупым, если человек с головой на плечах начинает разыгрывать непримиримого, прежде чем обеспечит себе независимость хорошими деньгами. Это необходимо! А потом, – заметил он, понизив голос, – с деньгами ведь можно делать добро тайком... Иначе голодные отравят вам жизнь!

По-видимому, этот циник и на самом деле милосерден.

Я даже узнал, что человек, сраженный его пулей[35], может спокойно спать на кладбище Сен-Манде: вдова убитого живет на средства, выдаваемые ей окровавленной рукой дуэлянта, а таинственным опекуном сына является убийца его отца.

В этих двух журналистах нашего века есть что-то от шекспировских героев: один таскает живот Фальстафа, другой предлагает современным Гамлетам голову Йорика для размышлений.

– Обзаведитесь собственной лавочкой, дорогой мой, приобретите свою газету! – не перестает мычать толстяк Вильмессан.

Легко сказать! Но все-таки я попытаюсь.

Я посвятил этому шесть месяцев.

Целых шесть месяцев я только и знал, что заказывал разорительные яства в шикарных ресторанах, где просиживал по несколько часов, подстерегая богачей; так же вот, бывало, во времена Шассена я сидел в ожидании товарища, отправившегося на розыски семи су,

чтобы расплатиться за выпитую в кредит чашку кофе с ромом.

Сколько мелких подлостей, комических унижений...

Я смеялся каламбурам «папенькиных сынков», отъявленных тупиц; складывал губы в улыбку, слушая их «басни», и все потому, что они сулили внести в дело каких-нибудь сто луидоров; я спаивал всяких проходимцев, обещавших свести меня с каким-нибудь богатым наследником или ростовщиком... а они только смеялись надо мной.

Какое счастье, что я родился овернцем!

Другой на моем месте давно устал бы и запросил пощады у врага. А я... я не сдал ни пяди; зато сдали мои подошвы.

За то время, что я не работал, я проел все деньги, оставшиеся у меня от «Фигаро». Залез даже в долги. Наконец я добрался и до последнего стофранкового билета.

Я берегу его. Ем хлеб и пью воду дома, чтобы иметь возможность съесть котлету и выпить чашку чая в кафе, посещаемом капиталистами.

Наконец я вцепился в плюшевый воротник одного еврея и зажег между створками своей двери полы его сюртука.

Я крепко держу его.

Его имя будет стоять в заголовке, он будет числиться директором, получать половину дохода и за это должен выложить две тысячи франков.

Не очень-то далеко уйдешь с двумя тысячами франков!

Но далеко или близко, я хочу скорей покончить с этим.

– Так вы говорите, что обладаете администраторскими способностями?.. А я уверен в себе... Ну что ж, афиши на стену!

Мы расклеили их франков на пятьдесят.

Как ни мало их было, несчастных, но одна из них все-таки бросилась в глаза издателю какой-то газеты, и он начал уверять, что, если б я догадался в свое время обратиться к нему, он принял бы меня с распростертыми объятиями. Лжет.

– Бросьте ваше предприятие, оно все равно погибнет в зародыше. Поступайте лучше ко мне!

– Нет!

Мне хочется хотя бы посмеяться в лицо обществу, на которое я не могу наброситься с кулаками. Пусть даже с риском для жизни!

Ирония так и рвется у меня из ума и сердца.

Я знаю, что борьба бесполезна, заранее признаю себя побежденным, но я хочу потешить себя, потешиться над другими, высказать свое презрение к живым и мертвым.

И я сделал это! Позволил себе полную искренность, излил все свое презрение.

В сотрудники я пригласил первых встречных.

Ко мне явился шестнадцатилетний юноша болезненного вида, с девичьей внешностью. Строение его черепа выдавало в нем мыслящего и решительного малого. Он был точно пожелтевшая на воздухе гипсовая фигурка, подтачиваемая изнутри ядом чахотки. Его направил ко мне Ранк[36].

Битых два часа бродил он перед редакцией, не решаясь войти, пока наконец мать не втолкнула его в дверь и не попросила, как милости, литературной аускультации[37] для своего сына, Гюстава Марото[38].

Вслед за ним пришел Жорж Кавалье[39], длинный, сухой, неуклюжий и смешной, – настоящий Дон-Кихот. Года два назад, встретив его в кафе «Вольтер», я окрестил его Pipe en Bois (Деревянная Дудка) за его сходство с теми ясеневыми дудочками, что так искусно вырезают пастухи. Под этим именем он известен как свистун галерки со времени постановки на сцене Французской Комедии пьесы «Генриетта Марешаль», наделавшей столько шума. Неудачник, но очень неглупый; чудаковатый, веселый и мужественный, с узкой грудью, но с широким сердцем.

Другой – краснолицый, коренастый, с лысым черепом, местами отливающим синевой, как пулярка, начиненная трюфелями, мужиковатый, с проколотыми ушами, с пучком волос под нижней губой. Он водворился у меня, сославшись на покровительство Гонкуров, и повел меня к ним.

Есть у него еще один крестный отец, адвокат Лепер[40], его земляк, депутат в будущем, поэт в прошлом, автор песни «Старый Латинский квартал». Он знает его уже лет десять и очень любит этого малого с синеватым черепом.

– Можете положиться на него, – сказал он, похлопывая того по плечу. – Тяжеловат, но надежен!

И Гюстав Пюиссан стал для моей газеты Роже Бонтаном[41]. Он пишет захватывающие статьи, тщательно изучая и проверяя материал; проникает в природу вещей, выслеживает своих героев и дает вам потрясающие документы.

Есть у меня еще воспитанник Нормальной школы, который плюет на нее.

Все они ведут войну с избитыми фразами и зажигают пожар парадоксов под самым носом у мраморных сипаев, стоящих на страже по музеям; их шутка всегда имеет серьезную мишень и беспрестанно задевает толстый нос Баденге в Тюильри.

Но чтобы болтать о политике, хотя бы и посмеиваясь над ней, необходимо иметь запасный фонд. А нашу бедную «Улицу» каждый месяц конфискуют, запрещают розничную продажу, причиняют нам тысячу неприятностей.

Однажды я написал резкую страничку под названием «Продажные свиньи», направленную якобы против барышников, а на самом деле хлеставшую чиновников и министров, законность и традицию.

Явился судебный исполнитель.

Нас скоро прихлопнут.

Но меня не тронут. Закон обрушивается только на издателя и не намерен казнить виновного, – важно, чтобы было сломано оружие.

Бедный издатель! Кто-то направил его ко мне, и когда он назвал себя, его имя разбудило во мне тяжелые воспоминания, запрятанные с раннего детства в одном из самых исстрадавшихся уголков моей души.

Мне было десять лет; моему отцу, репетитору лицея, разрешили, чтобы я готовил уроки подле него, в классе для взрослых. И вот однажды, когда какой-то ученик вывел из себя господина Вентра, он поднял руку и слегка ударил дерзкого школьника по физиономии.

Брат этого школьника, здоровый сильный юноша, уже с усами, готовившийся в Лесной институт, перепрыгнул через стол и, накинувшись на учителя, в свою очередь, толкнул его и побил.

Я хотел убить этого парня! Я слышал однажды, как эконо́м говорил, что у него в шкафу есть пистолет. Точно вор, забрался я к нему, обшарил ящики, но ничего не нашел. Попадись мне тогда в руки оружие, мне пришлось бы, возможно, предстать перед судом присяжных.

Директор лицея был возмущен. Перед всей школой были принесены извинения. Отец мой плакал.

Когда в моей памяти случайно воскресала эта сцена, я гнал ее прочь, старался думать о чем-нибудь другом, потому что мне начинало казаться, будто что-то липкое заволакивает мой мозг.

И вот младший брат того, кто оскорбил моего отца[42], вынужден подставить свои щеки под удары правосудия.

На один миг у меня явилось желание выместить на невинном всю свою злобу. Не будь он сед, я вернул бы ему пощечину, отягченную двадцатипятилетней злобой, – я убил бы его.

Но у него добродушный вид, у этого кандидата в издатели. Кроме того, он почти ничего не требует. И вот потому, что брат давшего пощечину предлагает себя по дешевке, – сын получившего эту пощечину забывает оскорбление и заключает с ним сделку. Я не взял бы миллиона за страдания, причиненные мне скандалом, а между тем, чтобы платить на двадцать франков меньше, я ударяю по рукам с этим типом.

Теперь он, в свою очередь, плачет, хотя ему предстоит вовсе не унижение, а скорее почет. Он прослышет «политическим», и те, кто не услышит его стонов и жалоб перед судьями, отнесутся к нему с уважением.

Поверенный газеты, указывая на его несчастный вид, старался вызвать к нему жалость, возбуждавшую смех, и просил снисхождения для бедняги, которому тем не менее присудили шесть месяцев. Он вышел из зала суда, вытирая свой лысый череп и не замечая, что от пролитого потока слез с его клетчатого носового платка уже течет.

– Постарайтесь добиться, чтобы меня не засадили в тюрьму, – просит он среди всхлипываний защитника, и тот обещает ему заняться этим. – Шесть месяцев! Подумайте только, шесть месяцев.

Он выжимает свой платок, а Лорье[43]... смеется за его спиной.

Этот Лорье способен смеяться над любым страданием. И не то, чтобы он был жесток, – нет! Но в его жилах бурлит презрение к человеческому роду, и это презрение кривит и подергивает его тонкие губы. Его физиономия напоминает мордочку грызуна, крысы, – крысы, которую взяли за хвост и окунули в бочку мальвазии. Цвет лица багровый, – он сангвиник!

Под этой хрупкой оболочкой таится мужественная сила, и сквозь мелкие зубы, способные, кажется, разгрызть дерево, вырывается со свистом резкий уверенный голос, точно бурав, сверлящий уши судей.

Он весел, язвителен, даже дерзок. У него на языке не только соль, но и порошок; он смешит и внушает страх своей иронией, которая то забавляет, то заставляет обливаться кровью, колет или терзает, как ему вздумается; причем сам он сохраняет полное бесстрашие.

Он – воплощенный скептицизм. Стрелок из любви стрелять и ранить. И он ловко играет своим оружием и своими убеждениями.

Этот маленький человечек без подбородка, без губ, с головой ласки или коноплянки – один из сильнейших умов своего времени, Маккиавелли своей эпохи... Маккиавелли, невзрачный на вид, насмешливый, всюду сующий свой нос, прожигатель жизни, потому что явился после Тортильяра[44], Жана Гиру[45], Калхаса[46] и Жибуайе[47].

Он не напишет «Государя», – этого нечего опасаться, – он пишет сейчас «Трибуна»[48].

Он встретил в суде одного южанина, молодца с черной гривой, хриплым голосом, кривого на один глаз, в нарочито неряшливом костюме. Все вместе взятое придавало ему необычный вид, как бы накладывало на него фабричное клеймо, метку, по которой его легко было узнать. Если б у него было два глаза, Лорье не обратил бы на него внимания; человек – как все, без бельма, без горба, ничем не выделяющийся, никак не подошел бы ему.

.....

Лорье не раздумывает и тянет руку за феноменом. Он выучит этого барана пробивать рогами отверстия, через которые найдут выход его корыстолюбивые желания и лихорадочное любопытство.

Он мог бы сам своими зубами прогрызть себе лазейку, но предпочитает, чтобы за него потрудился другой.

.....

.....

Он учуял свое время.

Сейчас требуется зычный голос, вульгарный жест, приемы площадного оратора, Тереза[49] мужского пола. Уже порядком надоели Шнейдер[50] и Морни[51], Кошоннет и Кадерусс. Буржуазия по горло сыта империей и хочет выказать себя воинственной по отношению к ней, после того как сама же создала ее своей подлостью, убийствами рабочих, ссылками без суда.

Сословная гордость, а также личная заинтересованность заставляют ее сердито смотреть на Бонапарта. Глаза Гамбетты[52] – причем тот, что прикрыт бельмом, в особенности, – бросают гневные взгляды, и в них угрозой горит смертный приговор власти.

.....

Манера Лорье – смеяться на форуме. Он любит жестокие мистификации и наслаждается ролью Барнума с тонким нюхом, чующим, что ветер дует в сторону паясничавших ораторов.

Ведь даже сама вульгарность Гамбетты способствует его популярности, а талант его питается идеями, глубоко банальными по существу. Комедиант до мозга костей, он не знает устали и, облачившись в львиную шкуру, нигде не сбрасывает ее: ни в буржуазном салоне, ни в веселом кафе, ни в подозрительном кабачке – везде и всегда подражает Дантону, даже за столом, даже в постели.

Он где-то вычитал, что Дантон, прежде чем отойти в вечность, заявил, что ему не жаль расставаться с жизнью, так как он вдоволь покутил с пьяницами и погулял с девицами. И вот он пьет, кутит, изображая Гаргантюа и Роклора[53].

Вокруг его кутежей и оргий создается легенда, и Лорье усиленно раздувает ее.

.....

Эта смесь пьяного разгула и ораторского пустословия приводит в восторг молокососов, посещающих лекции Моле, и неудачников из кафе «Мадрид», и они кричат толпе:

– Да! Вот это человек!

Комедиант! Комедиант!